

О письме Ю.М.Лотмана Б.Ф.Егорову (Тарту, октябрь 1986 г.)¹

(к вопросу о методологических и культурных истоках лотмановской интерпретации биографии А.С.Пушкина)

Известный эпистолярный текст Ю.М.Лотмана, написанный в ответ на рецензию Б.Ф.Егорова на книгу «Пушкин: Биография писателя», представляет собой интерес, с одной стороны, как фиксация рефлексии ученого о своей концепции и, соответственно, обнажение скрытых от рядового читателя ее структурных особенностей; с другой стороны, как текст, созданный в полемике, функция которого — защита от оппонента (причем, дружественность антагониста на самом деле утяжеляет условия — защищаться приходится только по существу вопроса). Иными словами Лотман в этом письме не только кратко (и, как нам кажется, более глубоко — с учетом уровня научной компетенции адресата) переформулирует некоторые положения своей книги, но и обосновывает правомерность своей интерпретации, ассоциируя ее с уже существующей в культуре традицией восприятия Пушкина.

С попытки анализа линии культурной преемственности, в которую встраивает себя Лотман, видимо, и следует начать. В своем эпистолярном ответе на рецензию Егорова автор биографии Пушкина указывает и ту традицию, с которой спорит, и ту, на которую опирается.

Интересно то, что собственно к сфере науки из всех упоминаемых в этом письме имен принадлежат только два: П.Е.Щеголев и С.Л.Абрамович. Первый — антагонист; вторая — союзник. Обращает на себя внимание, с одной стороны, множественность противников («Щеголев сотоварищи»), к тому же действующих при поддержке общественного мнения (в «духе либеральных

¹ Лотман Ю. М. Письмо Б. Ф. Егорову // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960-1990; "Евгений Онегин": Комментарий. - СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 388-390.

штампов»); а с другой стороны, - исключительность, единичность сторонников («все (кроме Абрамович с ее прекрасной книгой) идут по этому легкому пути»). Формируется представление о своеобразном пребывании в научном меньшинстве, если не в одиночестве. Само по себе это ощущение представляется странным для признанного главы ведущей российской гуманитарной школы; во всяком случае, эту странность стоит иметь в виду.

Итак, какую научную традицию Лотман отвергает? Объект критики указан прямо: «Щеголев со товарищи много вреда наделали: следуя в русле либеральных штампов начала века, они создали миф «поэт и царь» и представили Пушкина замученным интеллигентом». Примечательно, что штампы тут - «либеральные», хотя Щеголев не только органично вписался именно в советскую школу пушкинистики, но и в дореволюционной своей деятельности был ближе, скорее, к радикальным культурно-политическим формам.

Тем не менее, думается, что Лотман как раз дает точное указание. Миф «поэт и царь» в истоках своих — именно либеральный. Создается он, вероятно, не столько в работах Щеголева, обладающих несмотря на всю свою тенденциозность обширным фактическим фундаментом, а поэтому не столь «мифотворческих», а скорее, в рамках более общего явления — интеллектуальной (может быть, интеллигентской? — в социологическом значении термина) оппозиции рубежа XIX-XX веков. Общественно-политический исток этой оппозиции — в особенностях празднования столетнего юбилея поэта в 1899 году — первого одобренного, санкционированного и управляемого государством пушкинского юбилея. Как альтернатива активно пропагандируемому «монархическому» Пушкину² именно тогда окончательно оформляется «антимонархический» и, позже, «революционный» образ поэта (структурно схожий, на наш взгляд, культурный процесс, приведший в

2 Краткий, но емкий социокультурный анализ этого праздника и вообще становления «официального» образа поэта в 1890-е гг. дан, например, в книге: Левитт М.Ч. Литература и политика: пушкинский праздник 1880 года. - СПб.: Академический проект, 1994. С. 171-178. Монография Левитта впервые издана в 1989 году.

сталинское время к появлению «анекдотов» Д.Хармса о Пушкине).

Впрочем, понять эту мысль Лотмана как скрытую «политическую» критику советского пушкиноведения значит, на наш взгляд, серьезно упростить ее. От Щеголева линии традиции восприятия Лотман выводит к Цветаевой и Ахматовой. Причем, последняя — «Пушкина вообще не понимала»; то есть предполагается еще и некая градация более или менее адекватных Пушкину «постщеголевских» прочтений.

Цветаевское понимание жизни Пушкина представляется повторением концепции Щеголева. Отличие только одно — демонстративный вычет из сюжета пушкинской гибели внешнего фона, социальных, семейных и бытовых обстоятельств: «...первое, что я узнала о Пушкине, это - что его убили. <...> О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила - поэта. А Гончарова, как и Николай I-ый - всегда найдется»³. У Цветаевой в антитезе «поэт и царь» царь становится только маской черни, но это не означает действительной смены мифа; Пушкин во многом и у нее остается «замученным интеллигентом», суть конфликта не изменяется.

На этом фоне не совсем понятно, почему же Ахматова - «Пушкина вообще не понимала»? Ведь, в сравнении с другими прочтениями, ахматовский Пушкин, прежде всего, — победитель: «Он победил и время и пространство. Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они [враги Пушкина — С.Ш.] танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда»⁴. Чтобы понять,

3 Цветаева М. Мой Пушкин // Ее же. Проза. - М.: Современник, 1989. С. 17.

4 Ахматова А. Слово о Пушкине // Ее же. Проза поэта. - М.: Вагриус, 2000. С. 161.

почему Лотман отказывается от такого союзника, как Ахматова, нужно взглянуть на тех, кто в союзники все-таки взят.

Так, бросается в глаза, что упоминание книги Абрамович серьезной, концептуальной функции в письме Егорову не несет. Это именно и только упоминание, призванное, вероятно, замаскировать тему исключительности и одиночества именно *этого*, именно сейчас предлагаемого оппоненту прочтения биографии Пушкина.

Более четкое сходство лотмановского *ви*дения устанавливается с другими текстами (в порядке их упоминания в письме):

- стихотворение Б.Ш.Окуджавы «Счастливчик» (цитируются две первые и две последние строки; название стихотворения Лотман опускает);
- речь А.А.Блока «О назначении поэта», произнесенная в 1921 году в Доме литераторов на торжественном собрании в очередную годовщину смерти Пушкина (используется краткая цитата-маркер - «легкое имя Пушкин»);
- «Люди и положения» Б.Л.Пастернака (слегка изменяя источник, Лотман указывает на известный афоризм: «Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении...»);
- стихотворение Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник...» (приведена часть текста — без последних четырех строк).

Начнем с текста Окуджавы. Думается, что Лотман в полемическом запале (или все-таки намеренно?) искажает смысл стихотворения «Счастливчик». Собственно, для иллюстрации лотмановской концепции трагической победы Пушкина могут быть использованы (и то под определенным углом зрения и в определенном контексте, который как раз в анализируемом письме и создается) только последние строки этого стихотворения. Почти все остальное, на наш взгляд, больше соответствует щеголевской традиции восприятия, пусть и поданной в трагически-ироническом виде. Например, история ссылок поэта, его безденежья и долгов дается так:

У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:

жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.

История сложных, если не фатальных отношений с охранкой и царем —
так:

Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!

Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом⁵.

Вряд ли Лотману мог быть не ясен скрытый трагизм этого текста. С другой стороны, ученый точно определил и степень своей солидарности с Окуджавой: «...разделяю пафос [то есть коннотат, а не денотат — С.Ш.] его *последних* строк»⁶. Остается предположить, что стихотворение «Счастливчик» просто дает Лотману зримый образ человека, имеющего «неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах»⁷, а собственно негативные аспекты художественной биографии поэта в стихотворении Окуджавы автор научной биографии Пушкина проигнорировал. Видимо, поэтому ученому оказалось не нужно и подчеркнуто ироническое название

5 Окуджава Б.Ш. Стихотворения. - СПб.: Академический проект. - 2001. С. 302.

6 Лотман Ю.М. Пушкин. С. 389. Курсив мой — С.Ш.

7 Там же. С. 184.

стихотворения. «Счастливчик» вовсе необязательно должен иметь «неслыханный дар быть счастливым».

Упоминание о Блоке в письме Лотмана оставляет ряд вопросов. Прежде всего: зачем вообще понадобилось повторять аргумент (точно также, к тому же моменту блоковской речи «О назначении поэта» Лотман обращается и в финале книги о Пушкине), уже не убедивший оппонента. Не допуская мысли о случайности этого повтора, задумаемся о его функции.

В эпистолярном тексте блоковская цитата дается в ином окружении, в рамках другой логической цепочки. В книге она дается целиком: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними - это легкое имя: Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта - не легкая и не веселая; она трагическая...»⁸ По сути, это эпитафия; закономерно, что она следует за выразительными лотмановскими формулировками: «Но Пушкину это [напомним, в этом месте книги Лотмана речь идет о суете властей вокруг похорон поэта — С.Ш.] было уже все равно: для него началась новая жизнь — жизнь в бессмертии русской культуры. Прижизненная биография Пушкина — жизнь Пушкина-человека — закончилась, началась вторая, посмертная»⁹.

В письме цитата сокращена и дается сразу после ряда формулировок, в которых Лотман рефлексировал над своей концепцией биографии Пушкина и раскрывает ряд собственных творческих интенций. Выделим те, которые кажутся нам ключевыми: «Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать определяющей логикой его жизни. Все равно важнейшим остается внутренняя трагедия, а не пассивный переход от

8 Блок А.А. О назначении поэта // Пушкин: pro et contra. Т. 1. Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. - СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 2000. С. 475.

9 Лотман Ю.М. Пушкин. С. 184.

одного «обстоятельства» к другому <...> Я же хотел <...> — показать *внутреннюю логику* его пути»¹⁰. Как дополнительную иллюстрацию этой формулировки Лотман приводит трагическую историю создания «Неоконченной симфонии» Шуберта, и только после этого вспоминает речь Блока.

Речь «О назначении поэта» при всей своей структурной сложности и богатстве явного и скрытого контекста зиждится на развитии пушкинского мифа «поэт и чернь» (ср. с цветаевским пониманием конфликта). Отсюда у Блока пространные рассуждения о современной черни («Эти чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня...»¹¹), противопоставления «суетного света» и тектонических процессов взаимодействия Хаоса и Космоса, недоступных «черни», и вообще элитаризм его концепции («Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов; скорее добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлама»¹²).

Речь Блока написана и произнесена в 1921 году. В аргументации Лотмана практически не востребован ее политический и сатирический смысл. Между тем, он имеет в логике Блока ощутимый вес, порой приводит к стилистическим сломам, нарушающим трагически-возвышенный пафос речи («...течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма...»¹³) и в целом протягивает и от блоковского понимания личности Пушкина зримые нити к основному «оппоненту» Лотмана — Щеголеву и, в больше степени, - к Цветаевой. Лотман эти связи игнорирует и акцентирует различия. Различия эти, может быть, невелики, но действительно существенны.

Для Блока важно то, что делу поэта «чернь» не может помешать ничем: «... дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира»¹⁴. Так устанавливается граница между «внутренней логикой» жизни и ее

10 Там же. С. 390. Курсив мой — С.Ш.

11 Блок А.А. О назначении поэта. С. 476.

12 Там же.

13 Блок А.А. О назначении поэта. С. 480.

14 Там же. С. 479

внешним течением, «обстоятельствами». Именно это различие, эта грань становится в концепции Лотмана фундаментальной, причем, и в методологическом (подразумевается, что дело литературоведа — установить эту логику, «прорвавшись» сквозь «обстоятельства» жизни поэта), и в содержательном плане: общий вектор жизни, «взросления» Пушкина в книге Лотмана выглядит, в полном согласии с блоковской трактовкой поэтологического мифа самого Пушкина в стихотворении «Пока не требует поэта...», как постепенный переход грани между бытом и бытием. Причем, окончательный переход, полное слияние личности поэта с его «назначением» совершается именно в момент смерти и начала «второй» биографии.

Смерть Пушкина в лотмановской трактовке — катарсис его жизненной трагедии, и здесь Лотман, опираясь на блоковское прочтение, уходит от него весьма далеко. Блок воспринимает гибель поэта все-таки в рамках тех же, пусть и усложненных, углубленных «либеральных мифов»: «И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура»¹⁵. Торжества и победы в этой гибели Блок не усматривает, что, кстати, вносит в его речь элемент неустранимого, на наш взгляд, противоречия (в финале его речи звучит как раз отрицаемая в начале тема мученичества Пушкина), но это — уже за рамками предлагаемой статьи.

Цитата из стихотворения Окуджавы и обширное включение блоковских смыслов образуют своего рода знак, где от первого контекста остается *изображение*, означающее, а второй — становится *толкованием*, означаемым.

В обширной лотманиане последних десятилетий, на взгляд человека, находящегося не внутри, а около лотмановской традиции, — масса общих мест. Одно из них — подчеркивание в наследии ученого вполне традиционной идеи о внутренней связности культуры, с одной стороны, а с другой, — уже специфически лотмановского личного, почти интимного, переживания-

¹⁵ Там же. С. 481.

ощущения этой связности¹⁶. Рождение таких составных знаков — зримое проявление этого чувства, влияющего, разумеется, и на научное мышление.

Впрочем, для нас более интересно другое, а именно — то, что лотмановское прочтение биографии Пушкина рождается как результат синтеза двух элементов этого знака, целиком не совпадая ни с одним из них в отдельности. Стихотворение Окуджавы, его «сюжет» строится на противопоставлении траги-иронического описания биографии и житейской безысходности судьбы (конфликт «поэт и чернь» сохраняется и реализуется в области стилистического эксперимента Окуджавы). Блок в рамках этой же антитезы «поэт и чернь» меняет сюжет: конфликт с «чернью» теряет свое значение, жизнь поэта определяется не им, а степенью его проникновения в глубины, «недоступные для государства и общества, созданных цивилизацией»¹⁷. Лотман разворачивает блоковское противопоставление двух реальностей, в которых живет поэт, в процесс: так рождается сюжет постепенного восхождения поэта к поэзии на фоне его спора с непонимающими современниками и недружественными обстоятельствами; причем, логика этого спора приводит к единственно возможной победе поэта — смерти.

Торжество и бессмертие Пушкина Лотман видит не в посмертном, непрестанно возрастающем признании и посрамлении «черни» (таково видение Ахматовой). Это бессмертие просто *есть*. Вслед за Блоком оно мыслится более прочным и ощутительным нежели любое историческое бытие. Задача поэта — обрести его.

Означаемое в указанном знаке прирастает в письме Лотмана дополнительным контекстом — указаниями на Пастернака.

16 Это ощущение, вообще говоря, не требует ни доказательств, ни даже особых комментариев, оно очевидно на самом некачественном уровне восприятия. Автор этой статьи узнал, кто такой Ю.М.Лотман в детстве — по телевизору. Транслировались «Беседы о русской культуре». Мало что понимая в этих лекциях, он (автор статьи) был увлечен самим образом ученого, живущего, именно живущего в своей теме. Переводя это воспоминание в плоскость социологической истории науки, можно сказать, что внутренне конфликтное самоощущение современного российского гуманитария (особенно принадлежащего к поколению 1980-х годов) одним из своих истоков имеет именно «воспоминание о Лотмане», как неосуществимом в наличной исторической реальности идеале слияния быта и бытия в личности ученого.

17 Блок А.А. О назначении поэта. С. 475.

Лотман еще раз обостряет заявленный в начале письма конфликт научных традиций с помощью известного афоризма Пастернака о Пушкине и пушкинистах. Но думается, что функции этой цитаты богаче. Обратимся к ее источнику — автобиографическому очерку «Люди и положения».

Мемуарный текст Пастернака сам по себе семантически насыщен и структурно сложен. Афоризм о Пушкине в нем возникает весьма неожиданно. В отрыве от своего места в исходном тексте, он обычно приобретает иронический, если не сатирический смысл. Объект этой иронии — пушкинисты, которые строят свои интерпретации, вооружившись не только знанием о финале биографии поэта (естественно, недоступном ему самому), но и внушительным арсеналом собственных представлений о жизни и назначении поэта, методов исследования его жизни и его поэзии — представлений и методов, лишь опосредованно связанных с самим Пушкиным.

Между тем, этот полемический смысл в целостном восприятии текста Пастернака представляется отнюдь не очевидным и, во всяком случае, не первым, не обязательным. Афоризм о Пушкине появляется в главке «Девятисотые годы» в одном из самых значимых ее мест — в описании смерти (вернее, суеты вокруг смерти) Л.Н.Толстого и размышлении об этой смерти. Текст Пастернака разделен на микроглавки; приведем одну из них целиком:

Наверное, стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельной скалой. Комнату занимала грозная туча в полнеба, и она была ее отдельной молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским

на свете, – с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороною.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне¹⁸.

Текст пастернаковских мемуаров «многослоен». На уровне факта упоминание Пушкина не только неожиданно, но и оставляет впечатление недосказанности, намеренной неясности мысли, побуждает интерпретировать себя. Напрашивается, например, прочтение его как антитезы выставленной напоказ картины (сюжета) смерти и его ее потайного, скрытого от любого наблюдателя смысла. Такая интерпретация возможна (тем более, что и сам Пастернак подчеркивает суетность и неуместность всматривания в смерть Толстого), однако, на наш взгляд, она не учитывает всех авторских смыслов этого отрывка.

В нем есть, например, явная ирония по отношению к Толстому. «Несколько продолжений к «Онегину» и «пять «Полтав» - прозрачный намек на историю публикаций многих толстовских произведений (прежде всего, конечно, «Войны и мира»); вообще на специфически толстовскую манеру обнародовать, овеществлять в публичном виде результаты своей творческой рефлексии (в какой форме — «исповеди», нового варианта или демонстративного отказа от литературы — в данном случае неважно). С другой стороны, есть здесь ирония и по отношению к Софье Андреевне. В финале отрывка Пастернак пишет, что «понимание» менее нужно Пушкину, чем ему нужна была Наталья Николаевна.

18 Пастернак Б.Л. Собр. соч.: В 5 тт. Т. 4. Повести. Статьи. Очерки. - М.: Художественная литература, 1989. С. 321-322.

Между тем, Софья Андреевна в его мемуаре упирает именно на качество своего «идейного понимания».

Возникает своего рода система криптопародийных двойников и иронических сопоставлений: Щеголев и Софья Андреевна в антитезе к Наталье Николаевне; Пушкин в щеголевском понимании и Толстой — в антитезе к реальному Пушкину (вернее, такому, каким его видит Пастернак). В целом, эта система вполне может быть понята как распространенный вариант уже знакомого нам противопоставления «внутренней логики» жизни и «обстоятельств». Более того, в тексте Пастернака, в противоположность цветаевскому и блоковскому прочтениям, совершенно вне трагического пафоса, утверждается большая ценность краткой жизни Пушкина, избавившей его от «пяти «Полтав» (ср. с тем, как Лотман в письме Егорову толкует цитату Пушкина о Грибоедове). Успех/неуспех жизни писателя не зависит от ее длительности. Именно поэтому не вызывают у Пастернака сочувствия объяснения и оправдания Софьи Андреевны («уберегла бы»); они не нужны ни самому Пастернаку как присутствующему зрителю, ни Толстому («горе, вроде Эльбруса»), ни даже самой Софье Андреевне («большой отдельной скале»). Подчеркнутое отделение быта от бытия в тексте Пастернака как раз и есть наиболее близкая Лотману идея.

Однако все это пока — о методологии, о типологии стороннего *видения* поэтической биографии. Лотману же нужно еще и изображение изнутри — раскрытие автологического взгляда поэта на свою жизнь. Казалось бы, более логично было бы цитировать здесь самого Пушкина (подобно тому, как Блок обращается к стихотворению «Поэт»), но Лотман обращается к стихотворению Пастернака. Именно на этот текст возлагается функция раскрытия внутреннего чувствования поэта в момент его победной смерти. Неслучайно, к нему уже не дается толкований: с одной стороны, концепция уже очерчена раньше, с другой стороны, любой постскрипtum к такому переживанию будет выглядеть

неадекватным.

Возможно, впрочем, что и автору, и адресату письма было известно уже существующее толкование — статья А.Якобсона «Стихотворение Бориса Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник...». Во всяком случае, якобсоновская интерпретация текста Пастернака видится очень близкой к тому, о чем говорит Лотман: «Мольба не о пощаде (сразу — неумолимость: рослый стрелок, осторожный охотник), мольба о последнем взлёте. <...> поэзия поднимается ввысь, а пренебрегнутое ею, то, что есть сфера чувства, остаётся внизу. Но как раз оно-то, пренебрегнутое, к разлуке с чем ценою жизни рвётся поэзия, как раз оно, оставленное на земле, и становится предметом высшей поэтизации»¹⁹.

С другой стороны, и сам Лотман в ряде своих работ создал сложное, богатое прочтение поэзии Пастернака; причем, одним из ключевых моментов этого прочтения было как раз сложное совмещение смыслов поэзии-радости и сложности, мрака «обстоятельств», из которых она вырастает. Так, в своем анализе стихотворения «Дрозды», обращая внимание на наличие в подтексте указания на писательский поселок Переделкино, включая в контекст своего осмысления траги-ироническое отражение этого поселка у М.Булгакова, Лотман тем не менее, акцентирует радостную природу поэтического творчества в поэтическом сознании Пастернака: «Однако хотелось бы отметить, что абстрактный образ гётевской птицы заменен у Пастернака веселым и вольным Дроздом»²⁰.

Наконец (и это возвращает нас к мемуарному тексту Пастернака), с этим стихотворением, как и вообще с пастернаковским пониманием сущности поэзии, соотносится и его достаточно известные эпистолярно-критические рассуждения о Толстом: «И все же главное и непомернейшее в Толстом то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия (а,

19 Якобсон А. Почва и судьба. - М.-Вильнюс: Весть, 1992. С. 99. Статья Якобсона впервые была опубликована в № 25 журнала «Континент» за 1980 г.

20 Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэт. Текста. - СПб.: Искусство-СПб, 1996. С. 730.

может быть, и составляет именно истинное его существо), *новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельности* [курсив мой — С.Ш.], то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основой моего существования, всей манеры моей жить и видеть»²¹. По этой цитате можно увидеть, как сопрягались в сознании Пастернака воспоминания о Толстом (и собственном взрослении в литературе) и этико-эстетические (и даже религиозные) представления о «назначении поэта»; отсюда же тянется нить к лирическому переживанию этого «нового рода одухотворения» жизни поэтом, в частности, в стихотворении «Рослый стрелок, осторожный охотник...» Представляется, что эти сложные взаимосвязи смыслов в наследии Пастернака находились в сфере научного внимания Лотмана, иначе становится неясным, почему это пастернаковская цитата настолько точно подходит к биографии Пушкина и настолько сопряжена с глубинными смыслами этой биографии.

Лотмановское понимание жизни Пушкина риторично. Не только потому, что оно как смысловой инвариант включает в себя и самого Пушкина, и его тексты (не ограничиваясь при этом «Поэтом» 1827 года). Также и не потому только, что через Пушкина реактуализирует в рамках светской культуры традиционную метафору поэзии как священнодействия, «задвинутую» в истории восприятия Пушкина на второй план «либеральными мифами», восходящими к заблуждениям «реальной критики» XIX века. Риторичность лотмановской концепции — в специфическом отношении к слову как первичной наличной реальности для поэта и филолога. Внешняя (бытовая, социальная etc.) реальность сама по себе независима от слова, для литературоведа же она — вторична по отношению к «внутренней логике», к бытию поэта; более того, реальность — только материал для толкования этого бытия²².

21 Пастернак Б.Л. Об искусстве: «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. - М.: Искусство, 1990. С. 339.

22 Ср. с анализом философских предпосылок научного мировоззрения Ю.М.Лотмана в статье М.Ю.Лотмана «За текстом: заметки о философском фоне тартусской семиотики», в частности, с указаниями на кантианскую основу этой научной школы (восприятия текста как «вещи в себе») и, в особенности, с упоминанием о

С этой точки зрения, Лотман действительно кажется одиноким (или во всяком случае пребывающим в меньшинстве) в отечественной литературоведении. Расхождение с оппонентами, в том числе и с Б.Ф.Егоровым, обусловлено не методологическим, а мировоззренческим фундаментом мышления. В рамках лотмановского прочтения жизни Пушкина возражение Егорова («Совершенно невозможно воспринимать трагическую судьбу затравленного человека, Дом которого разрушили, запятнали грязью, от которого отвернулись даже близкие друзья, как «обдуманную стратегию» и тем более как победу»²³) — очередная вариация «либерального мифа» о «замученном интеллигенте», по сути, постулирующая большую важность для филолога конфликта поэта с «чернью», чем его поэзии. Приняв приоритет слова над бытом, читатель Лотмана уже не сможет согласиться с этим возражением. Даже «исторический катарсис, в котором участвуют и гениальная личность поэта, и его гениальные творения, и замечательные труды о нем»²⁴ (ахматовская мысль) и которым Егоров заменяет лотмановскую мысль о безусловной победе Пушкина, представляется в таком контексте недостаточным.

Именно поэтому книга Лотмана «выпадает» и из любых попыток проанализировать историю интерпретаций Пушкина в русской культуре в рамках антитезы «поэт и чернь» (в более грубом виде - «поэт и царь») и представлений о посмертном *общественном* торжестве поэта. В эту логику истории русской гуманитарной мысли Лотман не укладывается. Показательно, например, полное отсутствие его имени в довольно подробном обзоре советской и позднесоветской пушкинистики, содержащемся в уже упоминавшейся книге М.Левитта «Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года».

корректировке кантовского представления о вещи в себе с помощью Шиллера: «Шиллера Ю. М. Лотман считал — на мой взгляд несколько преувеличенно — выдающимся мыслителем, существенным образом дополнившим и развившим систему Канта, внеся в нее дополнительное измерение: свободу и связанные с ней категории динамики и творчества. Это, на взгляд Ю. Лотмана, создавало предпосылки для преодоления антиномии субъекта и объекта — этого проклятия европейской гносеологии. «Вещь в себе» оказалась наделенной творческой свободой» (Лотман М.Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартусской семиотики // Лотмановский сборник. - М.: ИЦ-Гарант, 1995. С. 219).

23 Егоров Б.Ф. Личность и творчество М.Ю.Лотмана // Лотман Ю.М. Пушкин. С. 15.

24 Егоров Б.Ф. Там же.

С другой стороны, к достоинствам книги М.Левитта нам представляется необходимым отнести то, что он *фактически*, на живом историческом материале доказывает мысль, с которой русские гуманитарии соглашались обычно интуитивно: споры о Пушкине в русской культуре обостряются всегда на «сломах», крутых поворотах истории и в периоды такого обострения всегда имеют не только литературное значение. Письмо Лотмана написано в 1986 году, о «внеаучном пафосе» своей концепции говорит сам его автор. Комментировать этот аспект мысли ученого вряд ли необходимо в рамках предлагаемого сообщения, но нужно указать на то, что своих «союзников» (как и противников) Лотман выбирает из представителей таких же переломных эпох и поколений.

Он ограничивается XX веком. Однако спор, частью которого является полемика Лотмана и Егорова, имеет более долгую историю. Миф «поэт и царь» основывается на утверждавшемся в течение всего XIX века представлении о нравственном и политическом противостоянии Пушкина и власти, представлении, несомненно, имеющем фактические основания, но явно однобоком. Этот перекокс привел к формированию такого понимания поэзии и личности поэта, который уже в работах Писарева потребовал демонстративного отказа от самого имени Пушкина. Так обозначился полюс этого уже не либерального, а радикального мифа о поэте. Существенные элементы этого мифа: постулат зависимости поэта от общества и процессов общественного развития; требование от поэзии исполнения некой социальной функции («отражения», «изменения», «воздействия»); сугубо социологическая (в более мягких вариантах — социопсихологическая) интерпретация биографии Пушкина.

В массовом сознании XIX, а потом и XX века, победил именно этот миф (хотя и не в своем радикальном варианте). Противоположная тенденция (А.К.Толстой, А.А.Фет, А.А.Григорьев) представлена в основном элитарными,

эстетизирующими Пушкина концепциями²⁵, неизбежно проигрывающими на фоне остроактуальных интерпретаций В.Г.Белинского, Н.А.Добролюбова, Д.И.Писарева и примыкающего к ним легиона критиков и публицистов. Единственная (или, ради снятия излишней резкости, одна из крайне немногочисленных) попытка создать альтернативный либеральному мифу образ Пушкина принадлежит Ф.М.Достоевскому и в окончательном виде формулируется в его речи на пушкинском празднике 1880 года²⁶.

Выделим ключевые смыслы пушкинской речи Достоевского в сопоставлении с таковыми же у Лотмана.

1) демонстративный отказ признать зависимость поэта от общества и его проблем (наоборот, творчество Пушкина в итоге дает модель для реализации национальной утопии); ср. у Лотмана рассуждение об «обстоятельствах» и «внутренней логике» жизни поэта.

2) острое внимание именно к слову поэта (при этом Пушкин у Достоевского выступает и как пророк (вообще основа личного поэтологического мифа позднего Достоевского — пушкинский «Пророк»; типы Алеко и Онегина становятся прообразами русских нигилистов и социалистов, чей духовный путь оказывается «запрограммирован» поэтом); о приоритете слова над бытом и социальной реальностью у Лотмана см. выше.

3) в речи Достоевского (это наиболее интересный для нас ее аспект) создается новый «восходящий», эволюционный и победительный «сюжет» жизни поэта. Жизнь поэта строится как обретение тайны, окончательное проникновение в нее совершается уже в зрелом возрасте перед смертью («Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою

25 Не совсем укладывается в эти схемы славянофильское прочтение Пушкина; но мы и не ставим здесь задачи создать детально проработанную картину. Финал нашего сообщения пунктирен и нацелен более на постановку этого аспекта проблемы, чем на высказывание семантически полной реплики в диалоге.

26 В науке о Достоевском пласт работ, посвященных этой речи, весьма широк. Однако, как правило, она рассматривается как факт творческой биографии самого писателя, иногда в аспекте его личных и творческих отношений с современниками; работы, ставящие целью вписать речь Достоевского в историю восприятия Пушкина редки. В свою очередь, пушкинисты речь Достоевского почти не используют, а редкие упоминания о ней носят, скорее, публицистический характер (см., например, посвященные речи Достоевского пассажи в книге В.С.Непомнящего: *Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине*. - М.: Советский писатель, 1983. С. 135, 142). Монография Левитта, несмотря на свою явную тенденциозность, - приятное исключение.

в гроб некоторую великую тайну»). Смерть закономерна, поскольку простые читатели проникнуть в эту тайну не могут («И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»). Обрести эту тайну можно только пройдя *лично* нравственный путь поэта («Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве»).

Внелитературный, обращенный к читателю моральный пафос интерпретации также устанавливает сходство двух прочтений. Важнее то, что и у Лотмана, и у Достоевского «внутренняя логика» биографии Пушкина структурно схожа — это логика духовного восхождения, лишь опосредованно (через отражение в творчестве) связанного с реальностью, логика самопостижения и самораскрытия, логика внутреннего успеха в деле такого проникновения в собственную тайну.

Парадоксальным образом светская биография Пушкина, написанная Ю.М.Лотманом, в ряде своих существенных аспектов «рифмуется» с религиозно-эстетической утопией Достоевского.